

ФУРГОН ЗАБЫТЫХ КНИГ



АЛЕКСЕЙ КОРНЕЛЮК

Лекарства для души

Алексей Корнелюк

Фургон забытых книг

«Автор»

2026

Корнелюк А.

Фургон забытых книг / А. Корнелюк — «Автор»,
2026 — (Лекарства для души)

Павел Суханов всю жизнь доставлял чужие заказы и давно привык ставить галочку: «вручено». Быстро, сухо, без лишних разговоров. Но однажды ему достаётся старый книжный фургон, его умершая хозяйка, семь недоставленных книг и рыжий кот, который смотрит на людей так, будто знает о них больше, чем положено обычному коту. У Павла есть месяц, чтобы развезти последние заказы. После этого фургон заберут за долги. Казалось бы, обычная работа: адрес, книга, подпись. Только каждая доставка приводит его к человеку, который когда-то не дождался важных слов. Кто-то не попросил прощения. Кто-то не простил. Кто-то всю жизнь хранил одну обиду, одну закладку, один чужой голос между страниц. Павел развозит книги, а на самом деле — чужие незаконченные разговоры. И чем ближе последняя доставка, тем яснее: одна книга всё это время ждала его самого.

Алексей Корнелюк

Фургон забытых книг

Фургон забытых книг

Покойница оставила мне фургон, рыжего кота и семь книг, которые почему-то не успели добраться до своих людей. Вот так обычно и начинается всякая дрянь. Не с грома. Не с молнии. Не с голой женщины в дверях и не с чемодана денег под кроватью. А с того, что тебе звонят в девять утра, когда ты стоишь у чужого подъезда с пакетом еды, где картошка фри уже превратилась в мокрую вату, а бургер пахнет так, будто его собирали из уставшей коровы и чужих сожалений. Телефон завибрировал в кармане жилетки. На экране высветилось: «Вера Сергеевна. Книжный фургон». Я посмотрел на имя и сразу понял: ничего хорошего.

Вера Сергеевна звонила редко. Обычно писала коротко, будто экономила не буквы, а жизнь: «Павел, забери коробку с Лесной, 12». «Павел, не ставь книги на пол, там сырость». «Павел, кота не трогай. Он сам решит». Последняя фраза меня всегда раздражала. Меня вообще раздражают люди, которые говорят о животных так, будто те управляют семейным бюджетом и знают, где лежат документы на квартиру. Я стоял на четвёртом этаже, возле двери с облезлой цифрой 47. Из квартиры доносился телевизор. Кто-то внутри смотрел передачу, где люди громко выясняли, кто кому испортил жизнь. Очень удобный формат: сидишь дома в халате, ешь бутерброд, а за тебя чужие люди орут о главном.

Телефон продолжал вибрировать. Я нажал зелёную кнопку.

— Павел?

Голос был не Веры Сергеевны. Молодой. Женский. Сухой, как печенье «Юбилейное», забытое открытым на подоконнике.

— Да.

— Это Анна. Племянница Веры Сергеевны.

Я молчал. Я всегда молчу, когда не понимаю, сколько сейчас от меня хотят: сочувствия, денег или чтобы я приехал помочь вынести шкаф.

— Вы можете сегодня подъехать? — спросила она.

— А Вера Сергеевна где?

Пауза вышла короткая. Но такая, в которую успевают провалиться целая человеческая жизнь. С тапочками, лекарствами на тумбочке, кружкой с недопитым чаем, закладкой между страниц и котом, который ещё не понял, что дверь больше не откроется.

— Она умерла ночью.

Я посмотрел на пакет с едой в руке. На чеке было написано: «Доставить до 09:05». На телефоне было 09:12. Кому-то на четвёртом этаже очень не повезло с завтраком. Хотя, если честно, человеку на четвёртом этаже всё равно повезло больше, чем Вере Сергеевне.

— Понятно, — сказал я.

Слово вышло дурацкое. Самое тупое слово на свете. Что тут может быть понятно? Человек был, человека нет. Вот он вчера звонил тебе и просил не мять книги. Вот он стоял у фургона, поправлял очки на переносице и говорил: «Павел, книги не любят, когда их бросают». А сегодня его уже сложили в какую-нибудь официальную фразу: «умерла ночью».

— Она оставила для вас конверт, — сказала Анна.

— Для меня?

— Да. И просила, чтобы вы обязательно приехали.

Слово «просила» меня добило сильнее, чем «умерла». Покойные вообще начинают вести себя нагло, когда умирают. Пока живы — можно не отвечать на звонки, забывать обещания, говорить «потом». А умер человек — и всё. Его просьба сразу становится каменной. Не подви-нешь. Не скажешь: «Вера Сергеевна, давайте завтра, у меня смена». Завтра у неё уже было занято вечностью. За дверью 47 наконец зашевелились.

— Кто там? — крикнул мужской голос.

— Доставка.

— Опоздал!

Я посмотрел на пакет.

— Знаю.

Дверь распахнулась. Мужик был в майке, трусах и с лицом человека, который давно проиграл войну с собственным холодильником. Он выхватил пакет, посмотрел внутрь, будто там могла лежать не еда, а оскорбление, и сказал:

— Картошка холодная?

— Не проверял.

— А должен.

Я хотел объяснить ему, что только что умерла женщина, у которой был книжный фургон и кот с характером налогового инспектора. Хотел сказать, что мир вообще устроен несправедливо: кому-то картошка холодная, а кто-то ночью перестаёт быть. Но мужик уже тыкал в телефоне, видимо, снижая мне рейтинг. Пять звёзд люди ставят редко. Зато одну — с такой радостью, будто наконец нашли своё предназначение.

Я спустился по лестнице, потому что лифт в этом доме пах так, будто в нём кто-то похоронил селёдку и периодически навещал могилу. На улице было серое утро. Не дождь, не солнце, а так — небо на больничном. Машины шипели по мокрому асфальту. Где-то рядом дворник гонял листья, как старший сержант новобранцев. Я сел в свою «Ладу Ларгус», которую уже давно надо было продать, сжечь или хотя бы перестать называть машиной. Но она ездила. А в моей жизни всё, что ещё ездит, автоматически считается нормальным. Навигатор показал двадцать семь минут до Веры Сергеевны. Я поставил телефон на держатель. Он тут же упал.

— Отлично, — сказал я.

Телефон лежал у ручника экраном вниз, как человек, которому тоже надоело. Я наклонился, поднял его, поставил обратно. На этот раз он держался. Видимо, смерть Веры Сергеевны дисциплинировала даже пластмассу. Книжный фургон стоял во дворе старого дома на улице Крылова. Дом был из тех, где подъезды ещё помнят запах варёной капусты, пыльных ковров и детских санок под лестницей. Пятиэтажка с облупленной штукатуркой, кривыми балконами и женщинами у окон, которые видят всё, кроме собственной жизни. Фургон стоял у тополя.

Старый, голубой, квадратный, с белой крышей. Таких уже почти не осталось. Он выглядел не как машина, а как вещь из другого времени. Когда люди ещё чинили зонты, подписывали открытки и хранили пуговицы в жестяных банках из-под печенья. На боку у фургона была нарисована открытая книга. Из книги рос тонкий зелёный росток. Краска местами облезла. Росток выглядел так, будто ему тоже нужен был отпуск. Задняя дверца была приоткрыта. Изнутри пахло бумагой, пылью, деревом и чем-то кошачьим. Не прям кошачьим туалетом, нет. Скорее старым котом. У старых котов особый запах: шерсть, сон, батарея, прожитая жизнь и тайное презрение ко всем, кто ещё суетится.

— Вы Павел?

Я обернулся. На крыльце стояла женщина лет тридцати пяти. Чёрное пальто, собранные волосы, лицо усталое, но аккуратное. Из тех лиц, на которых не плачут при людях, потому что тушь дорогая, а гордость ещё дороже.

— Да.

— Анна.

Она протянула руку. Я пожал. Ладонь холодная.

— Спасибо, что приехали.

Люди говорят «спасибо, что приехали» в двух случаях: когда сами не справляются и когда собираются повесить на тебя то, с чем не справились они.

— Соболезную, — сказал я.

Слово опять вышло деревянное. Как табуретка из школьной мастерской. Сидеть можно, но лучше не надо. Анна кивнула.

— Она вас часто вспоминала.

Я хотел спросить: «Хорошо или матом?» Но не спросил. У меня всё-таки иногда срабатывает внутренний тормоз. Скрипит, дымит, но срабатывает.

— Мы с ней работали иногда, — сказал я. — Я возил коробки. Книги. По мелочи.

— Она говорила, вы надёжный.

Я чуть не засмеялся. Надёжный. Это слово ко мне подходило примерно как фрак к участковому. Я был человеком, который мог забыть оплатить свет, потерять ключи в собственной куртке, три месяца не записываться к стоматологу, потому что «само пройдёт», и однажды случайно увезти чужую пиццу в соседний район. Но Вера Сергеевна почему-то считала меня надёжным. Может, потому что я не задавал лишних вопросов. А может, потому что на фоне её кота любой человек выглядел прилично.

— Пойдёмте, — сказала Анна.

Мы подошли к фургону. Внутри были полки. Настоящие деревянные полки, прикрученные к стенкам. На них стояли книги: потрёпанные, новые, толстые, тонкие, с закладками, без обложек, в целлофане, с чужими надписями на первых страницах. Внизу — ящики. На полу — старый коврик. На маленьком столике у окна — эмалированная кружка с облупленным краем. На водительском сиденье лежал рыжий кот. Он был огромный. Не жирный, а именно огромный, как начальник склада. Морда широкая, нос кирпичом, ухо одно надорвано. Глаза жёлтые. Смотрел он на меня без всякой радости. Так смотрят люди в очереди, когда тыходишь и спрашиваешь: «Кто последний?»

— Это Чек, — сказала Анна.

— Почему Чек?

— Тётя говорила, он всегда ложился на кассовый аппарат.

Кот медленно моргнул. Я вспомнил, как однажды пытался его погладить. Тогда он посмотрел на мою руку, потом на меня, потом снова на руку. И я убрал руку сам. Без крови, без геройства. Просто понял: бывают двери, в которые не надо стучать.

— Его заберёте? — спросила Анна.

— Кого?

— Чека.

— Нет.

Ответ выскочил сразу. Даже слишком бодро. Анна посмотрела на меня. Кот тоже.

— Тётя оставила распоряжение.

— Анна, я не могу взять кота. У меня однушка. Я работаю. Я дома бываю как случайный гость. И вообще у меня аллергия.

— На котов?

— На обязательства.

Анна не улыбнулась. Жаль. Шутка была почти нормальная.

Она достала из сумки белый конверт. Плотный, старомодный. На нём синими чернилами было написано:

Павлу Суханову. Открыть рядом с фургоном. Почерк у Веры Сергеевны был красивый. Не каллиграфия, нет. Просто почерк человека, который не спешил даже тогда, когда опаздывал. Я взял конверт.

— Она знала, что умрёт? — спросил я.

Анна отвела взгляд.

— Все знают. Просто некоторые делают вид, что у них бессрочный абонемент.

Это прозвучало так, будто фраза была не её. Скорее всего, Веры Сергеевны. У покойных вообще есть мерзкая привычка продолжать говорить чужими ртами. Я разорвал край кон-

верта. Внутри лежали ключи. Документы на фургон. И письмо. Бумага была сложена вдвое. Я не хотел читать. Правда. Есть вещи, которые лучше не трогать. Как старый синяк. Или переписку бывшей. Или банку в холодильнике, где уже выросла своя цивилизация. Но конверт был открыт. Кот смотрел.

Анна молчала. Я развернул лист.

«Павел. Если ты это читаешь, значит, я всё-таки умерла. Постарайся не делать такое лицо. Ты всегда делаешь лицо человека, которому предложили бесплатно, но неудобно. Мне нужна от тебя последняя доставка. Всего семь книг. Семь адресов. Я не успела отвезти их сама. Хотя, если быть честной, я слишком долго откладывала. Люди любят говорить, что не успели. Чаще всего они просто боялись. Фургон оформлен на тебя. Временно. На один месяц. Если за месяц ты развезёшь все семь книг, он останется у тебя. Если нет — Анна продаст его, закроет мои долги и наконец перестанет делать вид, что ей всё равно. Чека не отдавать в приют. Он старый, вредный и, возможно, умнее нас обоих. Слушай его, когда он ляжет на книгу. Не смей выбрасывать мои закладки. И главное: не открывай седьмую книгу раньше времени. В.С.»

Я перечитал последнюю строчку. Потом ещё раз. Не открывай седьмую книгу раньше времени. Ну конечно. Нормальные люди оставляют после смерти завещание, деньги, проблемы с наследством и сервант, который никому не нужен. Вера Сергеевна оставила мне квест.

— Это шутка? — спросил я.

Анна покачала головой.

— Нотариус подтвердил. Фургон действительно переоформляется на вас при условии выполнения поручения.

— При условии доставки книг?

— Да.

— Это вообще законно?

— Не знаю. Нотариус сказал, странно, но возможно.

У нас в стране много что странно, но возможно. Например, купить сосиски по акции и пережить их. Или три часа сидеть в поликлинике, чтобы врач сказал: «Ну что вы хотите, возраст». Мне сорок три. Возраст уже начал приходить за мной по мелочам: колено щёлкало, спина ныла, волосы отступали, как армия после плохого приказа.

— Мне фургон не нужен, — сказал я.

И это была правда. Мне не нужен был фургон. Мне не нужен был кот. Мне не нужны были семь книг, семь адресов и покойница, которая распоряжается мной через бумагу. У меня была работа. Дурацкая, нервная, с рейтингом, чаевыми и людьми, которые пишут в комментариях: «Курьер был без настроения». Конечно, без настроения. Настроение вообще редко входит в бесплатную комплектацию человека.

— Тогда откажитесь, — сказала Анна.

Очень спокойно сказала. Слишком спокойно.

— Можно?

— Можно. Я продам фургон. Книги, наверное, выброшу. Или отдам в библиотеку, если возьмут. Чека... — она посмотрела на кота.

Кот отвернулся к лобовому стеклу. Будто его всё это не касалось.

— Чека попробую пристроить.

— Попробуете?

— Он трёх человек уже укусил.

— Хороший мальчик, — сказал я.

Кот дёрнул ухом. Анна вздохнула.

— Павел, мне правда некогда этим заниматься. У меня работа. Дети. Муж. Ипотека. У тёти был талант всю жизнь превращать чужое свободное время в смысл. Я так не умею.

Вот это я понял. Я тоже так не умел. Я умел доставлять. Забрать. Довезти. Позвонить. Подняться. Спуститься. Поставить галочку. Смысл — это уже допущение. За неё обычно не платят.

— Где эти книги? — спросил я.

Анна открыла боковую дверцу фургона. На полу стоял деревянный ящик. Старый, винный, с выжженной надписью на боку: «Не кантовать». Внутри лежали семь книг, перевязанных разными лентами. К каждой была прикреплена карточка с адресом. Я присел на корточки. Колено хрустнуло. Не драматично. Просто напомнило: «Павел, мы вместе идём к земле». Первая книга была тонкая, в зелёной обложке. Без названия. Только наклейка:

1. Валентина Матвеевна Сомова. Посёлок Лесной. Дом у водонапорной башни. Отдать лично в руки. Не сыну.

Я хмыкнул.

— Уже интересно.

Вторая книга была толстая, синяя. На карточке:

2. Михаил Аркадьевич Лебедев. Не спорить. Он будет врать.

Третья:

3. Нина, которая не любит своё имя. Спросить у почтальона.

Четвёртая:

4. Открыть только при адресате. Если адресат умер — открыть у его могилы.

Я поднял глаза на Анну.

— У вашей тёти было своеобразное чувство юмора.

— Это не юмор.

— Вот это и пугает.

Пятая книга была обёрнута газетой. Старой. Газета пожелтела, как зубы у дальнего бойщика. На карточке было написано:

5. Тому, кто вернул билет, но не сел в автобус.

Без адреса. Шестая:

6. Дом с красной калиткой. Собака лает, но не кусает. Хозяин наоборот.

И седьмая. Она лежала отдельно. В чёрной тканевой обложке. Без карточки. Только тонкая белая закладка торчала сверху.

На закладке было написано:

Не трогай, Павел. Я серьёзно. Я сразу захотел потрогать. Человек так устроен. Ему можно написать «не трогай», и всё, внутри просыпается обезьяна с отвёрткой. Она уже лезет. Уже ковыряет. Уже хочет узнать, почему нельзя. Кот вдруг поднялся с водительского сиденья. Медленно. Тяжело. Как пенсионер, который всё слышал, но ждал, когда молодые наговорятся. Он прыгнул на пол фургона, подошёл к ящику и сел прямо перед седьмой книгой. Хвостом прикрыл её край.

— Видите? — сказала Анна.

— Что?

— Он так делал у тёти. Ложился на нужные книги.

— Он просто сел.

— Возможно.

Я посмотрел на кота. Кот посмотрел на меня. В его глазах не было магии. Не было мудрости. Не было сказочного огонька. Только старость, желтизна и такое спокойное знание о человеческой глупости, что мне стало неловко.

— Я не поеду, — сказал я.

Кот моргнул.

— Не поеду, — повторил я уже ему. — У меня работа. Заказы. Рейтинг. Мне некогда кататься по деревням с книжками покойницы.

Кот зевнул. Так широко, будто показал мне маленькую розовую бездну. Анна достала ещё один лист.

— Тётя просила передать вам это, если вы откажетесь.

— Она предусмотрела и это?

— Она много чего предусмотрела.

Я взял лист. Там было всего две строчки.

«Павел, ты всю жизнь доставляешь людям то, что им не нужно. Попробуй хотя бы раз доставить то, без чего они не смогли жить».

Я почувствовал раздражение. Настоящее. Горячее. Как будто покойница встала из своего гроба, подошла и щёлкнула меня по лбу.

— Она меня почти не знала, — сказал я.

Анна посмотрела устало.

— Тётя всех почти не знала. Этого ей хватало.

Я сложил письмо. Сунул в карман. Двор жил своей жизнью. На лавке у подъезда две бабки обсуждали смерть Веры Сергеевны уже с тем аппетитом, с каким люди обсуждают чужой ремонт. Мальчик катил самокат по луже. Где-то сверху выбивали ковёр. Пыль летела вниз, как мелкий бытовой снег. Фургон стоял передо мной. Старый. Ненужный. Голубой. Семь книг лежали в ящике. Кот сидел рядом с седьмой и делал вид, что всё уже решено. Я хотел развернуться и уйти.

Правда хотел. Уехать на своей «Ладе», включить радио, принять три заказа подряд, вечером купить пельмени, лечь на диван и забыть всё это как странный сон. Люди так и спасаются. Не большими решениями. Маленьким бегством. Раз за разом. День за днём. Пока однажды не замечают, что убежали не от проблемы, а от собственной жизни.

— Ключи можно оставить у вас? — спросила Анна.

Я посмотрел на связку в руке. На маленьком брелоке была металлическая книжка. Потемневшая от времени.

— На месяц? — спросил я.

— На месяц.

— И если я не справлюсь?

— Тогда фургон продадим.

— А кот?

Анна молчала. Кот тоже. Только дворник вдалеке скрёб асфальт метлой. Шурх-шурх. Шурх-шурх. Будто кто-то пытался стереть утро, но оно плохо отмывалось. Я вздохнул.

— Ладно.

Анна чуть заметно выдохнула. Не радостно. Скорее так, как выдыхают люди, когда один мешок наконец переложили на другую спину.

— Только я ничего не обещаю, — сказал я.

Это была моя любимая фраза. Удобная. Трусливая. Вроде ты уже согласился, но оставил себе дверцу, чтобы потом вылезти и сказать: «Ну я же предупреждал». Кот прошёл мимо меня к выходу, задел хвостом мою штанину и прыгнул на землю. Потом оглянулся. Не мяукнул. Не позвал. Просто посмотрел.

— Что? — спросил я.

Он пошёл к водительской двери. Я понял, что впервые в жизни меня торопит кот. Анна отдала мне документы. Объяснила что-то про страховку, техосмотр, нотариуса, долги, сроки. Я кивал. Понимал плохо. В голове вертелась только одна фраза: «Не открывай седьмую книгу раньше времени». И, конечно, именно поэтому я думал только о ней. Через десять минут я сидел за рулём книжного фургона. Сиденье было продавленное. Руль большой. Пахло пылью, старой бумагой и Вериним табаком, хотя Анна сказала, что тётя бросила курить пятнадцать лет

назад. Некоторые запахи не бросают людей. Живут рядом. Ждут. Кот забрался на пассажирское сиденье и свернулся клубком.

— Не привыкай, — сказал я. — Это временно.

Он даже ухом не повёл. Я повернул ключ. Фургон кашлянул. Один раз. Второй. Потом завёлся с таким звуком, будто внутри проснулся старый дед и сразу пожалел. На панели мигнула лампочка. Из бардачка что-то выпало мне на ноги. Я наклонился. Это была фотография.

Старая, выцветшая. На ней Вера Сергеевна стояла возле этого же фургона. Моложе лет на тридцать. В лёгком платье, с тёмными волосами, с книгой в руке. Рядом с ней был мальчик лет семи. Худой, лопоухий, в футболке с динозавром. Я посмотрел внимательнее. У мальчика на щеке был пластырь. У меня в детстве всё время был пластырь на щеке. Я падал с велосипеда, дрался, цеплялся за гвозди, проверял телом все углы мира. Я перевернул фотографию.

На обратной стороне было написано:

«Паша. Первая книга тоже не дошла». Я перестал дышать. Кот открыл глаза. Фургон тарахтел. А где-то в ящике за моей спиной лежали семь книг, и одна из них, кажется, уже начала ждать меня слишком громко.

Глава 2. Фотография, на которой меня не должно было быть

Я узнал себя не сразу. Во-первых, потому что нормальный человек не ожидает найти своё детство в бардачке чужого фургона. Детство обычно лежит в семейных альбомах, в коробках из-под обуви, на старых флешках, которые никто не может открыть, потому что разъём уже умер вместе с эпохой. В крайнем случае — в памяти матери, где ты до сих пор ходишь в колготках с вытянутыми коленками и говоришь смешное слово «какао» через нос. Но не в книжном фургоне покойницы.

Я держал фотографию двумя пальцами, будто она могла испачкать меня прошлым. На снимке Вера Сергеевна была совсем другой: молодая, худоватая, с острым подбородком и такими глазами, какими люди смотрят не в объектив, а в жизнь, которая вот-вот даст им по лбу, но они ещё об этом не знают. Рядом с ней стоял мальчик. Лопухий, смешной, с пластырем на щеке и с лицом человека, которому только что объяснили, что мороженое перед ужином нельзя, но он всё равно держит надежду в кармане. Я знал этот пластырь.

Не сам пластырь, конечно. Пластырь давно отвалился, пожелтел, прилип к мусорному ведру где-нибудь в 1989-м или 1990-м, а потом его вынесли вместе с картофельными очистками и окурками дяди Коли с третьего этажа. Но щёку я знал. И уши. И эту дурацкую футболку с динозавром, которую я носил до тех пор, пока мать не сказала: «Паша, она уже тебе как вторая кожа, только грязнее». На обратной стороне фотографии Верин почерк аккуратно вбил меня в сиденье: «Паша. Первая книга тоже не дошла».

Фургон тарахтел. Не ехал, а именно тарахтел, как старый холодильник, который уже давно должен был умереть, но держится на характере и советской обиде. Кот сидел на пассажирском месте и смотрел в окно. Очень удобно, между прочим. Когда ты находишь у покойницы фотографию самого себя, сделанную тридцать пять лет назад, а рядом сидит кот, который делает вид, что его интересует тополь, хочется поверить, что в мире ещё есть кто-то психически устойчивый. Даже если этот кто-то вчера, возможно, укусил нотариуса.

— Это что такое? — спросил я.

Кот не ответил. Я показал ему фотографию.

— Смотри. Это я.

Кот посмотрел на снимок. Потом на меня. Потом снова на снимок. И сделал такое лицо, будто хотел сказать: «Ну, постарел. С кем не бывает».

— Ты тоже хорош, между прочим.

Он отвернулся. Отлично. Первый день наследства, а я уже ругался с котом. Я заглушил двигатель. Во дворе сразу стало слишком тихо. До этого фургон своим хрипом закрывал лишние мысли, как старый ковёр закрывает пятно на стене. А теперь мысли полезли. Быстро. Нахально. Без очереди. Откуда Вера Сергеевна знала меня ребёнком? Почему я её не помню? Какая первая книга?

И почему, чёрт побери, она решила сообщить мне об этом после смерти? Нельзя было при жизни? Чай налить, достать фотографию и сказать: «Павел, у нас тут с твоим детством небольшой хвостик». Нет, конечно. Надо умереть, оставить фургон, семь книг, кота и подпись на обороте, будто она не пенсионерка с книжной лавкой на колёсах, а режиссёр дешёвого сериала, которому очень нужно, чтобы зритель включил следующую серию. Я вылез из фургона, держа фотографию в руке.

Анна стояла возле подъезда и разговаривала по телефону. Вид у неё был такой, будто она одновременно хоронила тётю, оформляла документы, ненавидела мир и пыталась не забыть купить детям творожки. Очень человеческий вид. Не трагический, не киношный. Просто вид

человека, у которого жизнь не остановилась из уважения к смерти. Я подошёл. Она прикрыла трубку ладонью.

— Что-то не так?

— Это вы мне скажите.

Я протянул фотографию. Анна посмотрела. Брови чуть сдвинулись. Не сильно. Она была из людей, которые даже удивление держат на коротком поводке.

— Где вы это взяли?

— В бардачке.

— Я не видела.

— Это я.

Она подняла на меня глаза.

— Что?

— Мальчик. На фотографии. Это я.

Анна снова посмотрела на снимок. Потом на меня. Потом на мальчика. Такая у нас пошла игра: все смотрят на всех и никто не понимает, кто тут покойник, кто наследник, а кто просто кот, которому повезло не объясняться.

— Вы уверены?

— Нет, я обычно путаю себя с детьми на чужих фотографиях. У меня хобби такое.

Анна промолчала. Взрослый человек. Не повелась.

— Я ничего об этом не знаю, — сказала она.

— Ваша тётя никогда не говорила обо мне? Раньше? До доставок?

— Нет.

— Про первую книгу?

— Нет.

— Про то, что она фотографировалась со мной в детстве?

— Павел, я не знала даже, что она оставила вам фургон, пока не позвонил нотариус. Тётя вообще много чего держала при себе. У неё была такая манера: молчать обо всём важном, а потом удивляться, что люди не догадались.

Знакомая манера. У нас в стране ей владеют профессионально. Мать может двадцать лет молчать, что ей обидно, а потом однажды за ужином сказать: «Да я для тебя всю жизнь положила», — и ты сидишь с котлетой во рту, хотя вроде обсуждали соль.

— Может, у неё были альбомы? Записи? Дневники?

— Всё в квартире. Но я пока туда не пушу. Извините.

— Почему?

— Потому что там ещё тело.

Вот тут мне стало стыдно. Как-то резко. Не высоким нравственным стыдом, а бытовым, неприятным, когда ты уже открыл рот за добавкой, а хозяйка говорит, что мясо закончилось ещё вчера.

— Понял, — сказал я.

Опять это слово. Надо запретить себе говорить «понял» на похоронах, у больниц, возле чужих горестей и вообще в ситуациях, где ты ничего не понял. Но рот живёт своей жизнью. Голова где-то страдает, сердце где-то ёкает, а рот уже оформляет квитанцию: «Понял». Анна вернула фотографию.

— Может, первая доставка как-то связана с этим.

— Валентина Матвеевна? Дом у водонапорной башни?

— Возможно.

— А где этот посёлок Лесной?

— Километров сорок отсюда. Если навигатор не соврёт.

— Навигатор врёт с такой уверенностью, что ему надо в политику.

Анна впервые за всё время чуть улыбнулась. Не улыбка даже — так, трещинка на лице. Но уже что-то.

— У тёти в бардачке должна быть карта.

— Бумажная?

— Да.

— Конечно. Умершие любят усложнять живым логику.

— Она не доверяла навигаторам. Говорила, что они знают дорогу, но не знают, зачем человек едет.

Вот это уже точно была Вера Сергеевна. Не фраза — сухарик с философией. Хрустишь, крошки летят, а потом понимаешь, что зачем-то запомнил. Анна снова прижала телефон к уху и отошла. Я остался с фотографией, ключами и чувством, что меня без спроса вписали в чужое завещание, где мелким шрифтом указано: «А теперь, Павел, попробуй не испугаться собственной жизни». Я вернулся в фургон. Кот сидел на пассажирском месте, как начальник экспедиции. Из кармана дверцы на коврик сползла бумажная карта. Кот сидел рядом и умывался, словно не имел к нашей логистике никакого отношения.

Карта была сложена в несколько раз. Старая, затёртая, с заломами, на которых бумага почти прорвалась. На обложке — область, дороги, синие нитки рек, зелёные пятна лесов. Вера Сергеевна, видимо, любила ручки: на полях были пометки, стрелки, кружочки, слова. Не аккуратные библиотечные записи, а живые: «тут плохой мост», «не брать пирожки», «собаки», «почта закрыта по средам», «хороший чай у Тамары», «Паша?». Я замер. На краю карты, возле посёлка Лесной, было написано: «Паша?» С вопросительным знаком. Как будто я был не человеком, а подозрением. Я провёл пальцем по надписи. Чернила синие, чуть расплывшиеся. Под Лесным стоял круг. Рядом — маленькая звёздочка и номер один. Первая доставка.

Валентина Матвеевна Сомова. Дом у водонапорной башни. Отдать лично в руки. Не сыну. Мне не нравилось слово «сыну». В нём уже была проблема. Если в карточке пишут «не сыну», значит, сын там есть. А если сын есть и ему нельзя отдавать книгу, значит, он из тех людей, которые считают, что всё в доме матери автоматически принадлежит им: квартира, ложки, память, сахарница, право решать, кому что можно знать.

Я сунул фотографию в нагрудный карман куртки. Потом достал обратно. Посмотрел ещё раз. Мальчик на снимке держал в руках что-то прямоугольное. Не сразу заметил. Книга? Нет, вроде коробка. Или тонкий альбом. Изображение мутное, выцветшее. Вера Сергеевна смотрела на него так, будто сейчас что-то скажет, но фотограф нажал кнопку раньше. Странно.

Память у меня, конечно, не музей. Скорее сарай после переезда. Что-то стоит, что-то потеряно, что-то накрыто клеёнкой, а в углу валяется велосипедное колесо, хотя велосипеда уже нет. Но я должен был помнить такую женщину. Книжный фургон тем более. В детстве любая необычная машина — событие. Молоковоз, пожарная, автолавка с хлебом, грузовик с арбузами. А тут голубой фургон с книгами. Такое ребёнок не забывает. Или забывает, если ему помогли. Эта мысль мне не понравилась. Я завёл двигатель. Фургон снова кашлянул, обиделся, подумал и согласился жить.

— Поехали, — сказал я коту.

Кот устроился удобнее.

— Только без командования. Я за рулём.

Он закрыл глаза. Да, конечно. Большая ошибка диктаторов — они никогда не спорят вслух. Первые десять минут я ехал осторожно, как человек, который управляет не машиной, а чужой старостью. Руль люфтил. Передача включалась с характером. Тормоза брали не сразу, а после короткого внутреннего совещания. На каждом лежащем полицейском книги в полках шевелились и тихо стукались друг о друга. Получался звук маленькой библиотеки во время землетрясения. Город выпустил нас неохотно.

Сначала были дворы, остановки, аптеки, шаверма, шиномонтаж с нарисованной шиной, похожей на чёрный пончик. Потом потянулись склады, заборы, гаражи, пустыри, автосервисы с названиями «Форсаж» и «У Петровича», где никогда не было ни форсажа, ни уверенности, что Петрович существует. Потом дорога расправилась, как спина после сна, и пошла между полями. Слева стояли берёзы. Не красивые такие, как на открытках, где берёза — символ родины и девичьей печали, а обычные дорожные берёзы: тонкие, пыльные, с облезлой белизной, будто их красили давно и без премии. За ними темнел лес. Справа тянулось поле, уже выгоревшее местами, с жёлтыми проплешинами и чёрными птицами на проводах.

Небо было низкое. Не давило, но намекало. Я включил радио. Из динамика зашипело, потом кто-то бодро сообщил, что в регионе ожидается повышение тарифов и переменная облачность. Прекрасно. Даже погода у нас переменная, а тарифы постоянные в своём стремлении вверх. Кот открыл один глаз.

— Не нравится радио?

Он не ответил. Я выключил. В фургоне стало слышно, как сзади шуршат книги. Не громко. Так шуршат люди в зрительном зале, когда ждут начала спектакля и делают вид, что им не интересно. Через пятнадцать километров я всё-таки не выдержал.

— Ты её знал давно?

Кот молчал.

— Веру Сергеевну.

Молчал.

— Ладно. Вопрос снят. С кошками вообще тяжело беседовать. Никакой обратной связи, кроме презрения.

Он потянулся и положил лапу на край карты. Прямо на кружок с посёлком Лесной. Я покосился.

— Совпадение?

Кот убрал лапу.

— Конечно.

А потом из задней части фургона упала книга. Я дёрнулся так, что чуть не выехал на встречку.

— Твою ж...

Кот даже не шелохнулся. Я прижался к обочине. Заглушил двигатель. Сидел несколько секунд, слушал, как кровь стучит в висках. Потом вылез и открыл боковую дверь. На полу лежала первая книга. Зелёная. Тонкая. Та самая, для Валентины Матвеевны. Она выпала из ящика, хотя ящик стоял на месте, остальные книги лежали ровно, а лента на первой почему-то была развязана.

— Очень смешно, — сказал я в пустоту фургона.

Пустота промолчала. Я поднял книгу. Обложка была тканевая, старая, без названия. Только на корешке золотыми буквами, почти стёртыми, значилось: «Дом, где ждут». Я открыл первую страницу. Да, знаю. Не надо было. Но на карточке было написано «отдать лично в руки», а не «не открывать». Юридически я был чист. Морально — как обычно.

На форзаце стояла надпись:

«Валя, если когда-нибудь ты решишь, что ждать — стыдно, перечитай главу про окно. В.С.»

Ниже другим почерком, неровным, злым: «Я ждала. Ты не пришла». Я закрыл книгу. Пальцы почему-то стали влажными. Не от слёз, боже упаси. Я не из тех мужчин, которые плачут над чужими форзацами на обочине областной трассы. Просто в фургоне было душно. И вообще. Кот прыгнул с пассажирского сиденья и подошёл к двери. Посмотрел на книгу. Потом на меня.

— Что? — спросил я.

Он мяукнул. Впервые. Голос оказался низкий, прокуренный. Как будто внутри кота жил маленький старый диспетчер.

— Не начинай, — сказал я. — Я сам понял.

Но я не понял. Ничего я не понял. Я только почувствовал, что у этой доставки есть зубы. Дальше дорога стала хуже. Асфальт пошёл волнами, ямами и заплатками, как старое лицо после неудачной жизни. Фургон подпрыгивал. Книги стукались. Кот иногда открывал глаза, чтобы убедиться, что я всё ещё делаю всё неправильно. Посёлок Лесной встретил нас знаком, покосившимся набок, будто сам посёлок не был уверен, хочет ли он называться Лесным. Под знаком кто-то маркером дописал: «тут скучно». Ниже другой человек ответил: «зато тихо». Третий добавил совсем мелко: «кому как». Я сразу проникся.

В Лесном было две улицы, магазин, остановка с облупленной лавкой, заросший клуб и водонапорная башня, торчащая над домами, как ржавая мысль. Дома стояли разные: одни ещё держались, с занавесками, цветами, собаками и спутниковыми тарелками; другие уже сдавались — с проваленными заборами, слепыми окнами и травой по пояс. У каждого дома был свой способ стареть. Люди тоже так умеют. Я остановился у магазина «Ромашка». На вывеске ромашка была похожа на яичницу. Возле двери курила женщина в синей жилетке продавщицы. Курила с таким выражением, будто каждая затяжка — это маленькая месть покупателям.

— Здравствуйте, — сказал я.

Она посмотрела на фургон. Потом на меня. Потом на кота, который сидел у лобового стекла и изображал владельца бизнеса.

— Книжки продаёте?

— Развожу.

— Кому они тут нужны?

Хороший вопрос. Настолько хороший, что я сам чуть не развернулся.

— Валентину Матвеевну Сомову знаете? Дом у водонапорной башни.

Женщина перестала курить. Просто замерла с сигаретой у губ.

— А вы ей кто?

— Курьер.

— Книжный?

— Получается.

Она усмехнулась, но как-то без радости.

— Поздно вы.

У меня внутри что-то неприятно щёлкнуло.

— Умерла?

— Нет. Это хуже.

Она выбросила сигарету, придавила носком.

— Сын её забрал.

— Куда?

— В дом. В свой. Или в квартиру. Кто его знает. Но бабка пока там. Дом закрыт. Вещи вывозят.

— Мне нужно отдать ей книгу лично.

Продавщица посмотрела на меня так, будто я сказал, что мне нужно вручить луне кви-танцию.

— Сыну отдадите.

— Нельзя сыну.

— Тогда не отдадите.

— Почему?

Она кивнула в сторону дороги.

— Потому что сын у неё такой, что ему и пустую бутылку доверять нельзя. Всё сдаст, продаст и ещё скажет, что так и было.

Я достал карточку.

— Здесь написано: дом у водонапорной башни. Не сыну.

Продавщица прочитала. Лицо у неё изменилось. Не сильно, но я уже начал замечать эти маленькие человеческие поломки: бровь опустилась, рот стал тоньше, взгляд убежал в сторону.

— Это Вера писала?

— Вы её знали?

— Кто ж её не знал. Она сюда лет двадцать ездила. Фургон этот помню. Дети за ним бегали, как за мороженщиком. Только мороженое тает, а книги потом дома валяются, пока мать не выкинет.

— Валентина Матвеевна где сейчас?

Женщина помолчала.

— Идите к башне. Там увидите. Только не лезьте, если Серёга дома.

— Серёга — сын?

— Ага.

— Опасный?

— Хуже. Родной.

Это было сказано так, что я сразу понял: в Лесном Серёгу любят примерно как плесень в банке с вареньем. Вроде своя, домашняя, но лучше бы её не было. Я купил бутылку воды и пачку печенья. Не потому, что хотел печенья, а потому что в маленьких магазинах нельзя просто спросить большую семейную историю и уйти. Надо что-то купить. Таков древний деревенский налог на информацию. Когда я вернулся к фургону, кот сидел уже не на панели, а на водительском сиденье.

— Слезай.

Он не слез.

— Я серьёзно.

Он посмотрел на меня. Я открыл дверь шире.

— Чек, мне сорок три года. У меня болит спина, кредитка почти пустая, и я только что узнал, что покойная женщина была знакома со мной в детстве. Не заставляй меня ещё и спорить за водительское место.

Кот медленно поднялся. Очень медленно. Так медленно, что я успел постареть. Потом перешёл на пассажирское.

— Спасибо.

Он сел с таким видом, будто сделал мне одолжение, за которое я теперь обязан ему почку. Дом у водонапорной башни нашёлся быстро. Башня была старая, ржавая, на четырёх ногах, с круглым баком наверху. Возле неё стоял деревянный дом с голубыми наличниками. Наличники облезли, но всё ещё старались быть красивыми. Как женщины, которые красят губы перед походом в поликлинику.

У ворот стояла белая «Газель». Двое мужиков выносили из дома коробки. Один курил прямо с коробкой в руках. Второй ругался на шкаф, который не хотел пролезать в дверь. Во дворе лаяла собака. На крыльце стоял мужчина лет пятидесяти, широкий, краснолицый, в спортивных штанах и майке. На шее золотая цепь. Из тех цепей, которые ничего не украшают, а только сообщают: человек верит в металл больше, чем в совесть. Серёга. Можно было не спрашивать. Я припарковался у забора. Кот вдруг стал напряжённым. Не смешно напряжённым, как кот перед пылесосом, а тихо. Уши вперёд. Глаза узкие.

— Сиди здесь, — сказал я.

Взял зелёную книгу и вышел. Серёга сразу меня заметил.

— Чего надо?

Есть люди, которые даже «здравствуйте» произносят как «пошёл вон». Серёга был из тех, кто решил не тратить время на лишние слоги.

— Валентину Матвеевну ищу.

— Нет её.

— В смысле?

— В прямом. Нет.

Я посмотрел на дом. В окне за шторой мелькнуло лицо. Старое, маленькое, белое. И тут же исчезло.

— Мне нужно отдать ей книгу.

Серёга спустился с крыльца.

— Мне отдавай.

— Не могу.

— Почему?

Я показал карточку. Он прочитал. Улыбнулся. Улыбка у него была плохая. Не злая даже. Хозяйская. Так улыбаются люди, которые привыкли, что слабые предметы — старики, дети, женщины, кошельки, чужие письма — можно брать руками без спроса.

— А, это Вера чудит, — сказал он. — Сдохла уже, а всё чудит.

Я почувствовал, как в груди поднимается злость. Не благородная. Обычная. Грязная. С примесью страха.

— Книга для Валентины Матвеевны.

— Мать плохо себя чувствует.

— Я на минуту.

— Не надо ей никаких книг.

— Она сама скажет.

Серёга подошёл ближе. От него пахло потом, сигаретами и чем-то сладким, как дешёвый одеколон из ларька.

— Ты кто такой вообще?

— Курьер.

— Вот и курьерь отсюда.

Один из грузчиков засмеялся. Второй сделал вид, что не слышит. Собака за забором залаяла сильнее. И тут из фургона донёсся грохот. Не просто звук. Настоящий такой грохот, будто внутри рухнула полка, чемодан, жизнь и небольшой шкаф. Все обернулись. Боковая дверь фургона распахнулась. На дорогу вылетела пачка книг. За ней — старый атлас. Потом металлическая миска. Потом рыжий кот. Чек приземлился тяжело, но достойно. Поднял хвост трубой и пошёл прямо к воротам.

— Эй! — сказал я.

Он не остановился. Серёга посмотрел на кота.

— Это ещё что за хрень?

Кот подошёл к калитке, просунул морду между прутьями и вдруг заорал. Не мяукнул. Заорал так, будто его резали, хоронили и одновременно просили подписать согласие на обработку персональных данных. Собака внутри двора замолчала. Грузчики замолчали. Даже Серёга моргнул. В окне снова появилась Валентина Матвеевна.

Теперь я увидел её хорошо. Маленькая старуха в серой кофте. Волосы жидкие, белые, собраны в пучок. Лицо испуганное. Но не слабое. Нет. У испуганных людей иногда бывает лицо тех, кто уже слишком долго терпел и теперь боится не чужой силы, а своей последней. Она прижала ладонь к стеклу. Увидела кота. И вдруг заплакала. Я не сразу понял. Она просто стояла за окном, а лицо у неё сморщилось, как бумага, которую слишком долго держали в кулаке. Серёга выругался и шагнул к калитке.

— Пошёл отсюда, зверь!

Кот не пошёл. Он сел. Прямо перед воротами. И стал смотреть на дом. Я держал зелёную книгу в руке и чувствовал, что вся моя прежняя жизнь — заказы, рейтинг, пельмени, диван, привычка никуда не влезать — стоит где-то позади и машет мне: «Паша, не надо. Паша, уезжай. Паша, это не твоё». А впереди был дом у водонапорной башни, плачущая старуха за стеклом, сын с золотой цепью и кот, который, кажется, только что объявил войну. Серёга повернулся ко мне.

— Забирай свою скотину и вали.

Я посмотрел на книгу. Потом на окно. Потом на кота.

— Не могу, — сказал я.

— Чего?

— У меня доставка.

И сам удивился, насколько спокойно это прозвучало.

Глава 3. Дом, где ждут

В детстве я думал, что смелость — это когда человек лезет в драку первым. Потом вырос и понял: нет. Это дурь, гормоны, плохое воспитание и уверенность, что нос заживёт сам. Смелость начинается позже. Когда ты стоишь у чужой калитки, держишь в руке старую книгу, а на тебя идёт мужик с золотой цепью и лицом человека, который уже мысленно примеряет твою челюсть к собственному кулаку. Серёга остановился в двух шагах.

Два шага — это вроде бы мало. Но когда перед тобой широкий мужик с руками, как два пакета цемента, два шага превращаются в целую географию. Между нами была трава, пыль, собачий лай, рыжий кот и моё внезапное желание оказаться где-нибудь в другом месте. Например, в стоматологическом кресле. Или на собрании жильцов. Или даже в лифте, где умерла селёдка. Где угодно, лишь бы не здесь.

— Какая ещё доставка? — спросил Серёга.

— Обычная. Книжная.

— Я тебе сказал, мать болеет.

— Я тоже много чего себе говорю по утрам. Например, что с понедельника начну зарядку.

Серёга не оценил. Очень зря. Шутка была слабая, но не настолько, чтобы за неё бить. Кот сидел у калитки и смотрел на дом. Спокойно. Будто всё это было не его дело, а наше, человеческое, жалкое. В окне за занавеской всё ещё стояла Валентина Матвеевна. Ладонь на стекле. Маленькая, сухая ладонь. Такая ладонь бывает у людей, которые всю жизнь мыли чашки, стирали тряпки, держались за поручни автобусов, гладили детей по головам, а потом однажды обнаружили, что собственные руки стали похожи на корни.

— Давай книгу, — сказал Серёга. — Я передам.

— Нельзя.

— Кто запретил?

— Покойница.

Он хмыкнул.

— Покойница мне не указ.

Вот это была хорошая фраза. В ней весь Серёга помещался. Живые ему, видимо, тоже не особо были указ, а покойные вообще потеряли право голоса. Удобно жить, когда весь мир у тебя без права подписи. Я сунул карточку обратно в книгу.

— Мне нужно лично.

— Я сейчас лично тебе врежу.

Грузчик у «Газели» перестал курить. Второй, который тащил коробку, поставил её на землю. Собака в будке снова залаяла, но уже как-то неуверенно, будто тоже чувствовала, что дело перестало быть просто дворовой перепалкой. Я мог уйти. Вот честно — мог. Более того, это был бы самый разумный поступок за последние сутки. Я мог сказать: «Понял, извините, всего доброго». Мог сесть в фургон, завести этот голубой шкаф на колёсах, бросить книгу обратно в ящик и сказать коту: «Ну что, рыжий, попытались, не вышло». И кот бы, наверное, посмотрел на меня так, как смотрят на людей, которые сдают билет за минуту до отправления.

И именно этот взгляд я почему-то не хотел видеть. Не Серёгин кулак меня пугал. Кулак — штука простая. Болит, синеет, проходит. Меня пугало другое: что я уеду, а женщина за окном останется стоять с ладонью на стекле. И будет знать, что книга была рядом. Совсем рядом. У калитки. В трёх метрах. Но снова не дошла. Не знаю, почему это меня задело.

Наверное, у каждого человека внутри есть такая точка, куда попадает не всякая боль, а только своя, точно подобранная. У меня, как оказалось, это были недоставленные вещи. Письма, книги, слова. Всё, что почти дошло и не дошло. Почти — вообще мерзкое слово. Почти успел. Почти сказал. Почти любил. Почти был нормальным человеком.

— Слушайте, — сказал я, стараясь говорить ровно. — Я отдам ей книгу и уеду. Мне от вас ничего не надо.

— А мне от тебя надо, чтобы ты свалил.

— Понимаю.

— Да что ты всё понимаешь? — Серёга шагнул ближе. — Ты кто такой, чтобы сюда лезть? Курьер? Вот и курьер по своим заказам. Моя мать. Мой дом. Мои дела.

— Дом её, — сказал я.

Тишина получилась неприятная. Даже кот повернул голову. Серёга улыбнулся. Уже без улыбки. Бывает такое лицо: губы растянулись, а человек внутри достал топор.

— Чего сказал?

— Я говорю, дом Валентины Матвеевны.

— Ты документы видел?

— Нет.

— Вот и закрой рот.

И тут, как назло, из дома раздался стук. Тук. Все повернулись. Тук-тук. Это было изнутри. Не громко, но отчётливо. Будто кто-то бил ложкой по стеклу или костяшками по раме. Валентина Матвеевна стояла у окна и стучала. Потом губы её зашевелились. Слов не было слышно. Только рот. Маленький, проваленный. Он открывался и закрывался, как у рыбы, которую забыли в ведре. Серёга бросился к крыльцу.

— Мать, отойди от окна!

Она не отошла. Наоборот. Прижалась ближе. И я вдруг понял, что она смотрит не на меня. И не на книгу. Она смотрит на кота. Рыжий поганец сидел у калитки и, кажется, прекрасно понимал, какой эффект производит. Валентина Матвеевна снова постучала. Потом подняла палец и показала на кота. Серёга обернулся.

— Зверюга ей голову морочит, — сказал он.

— Кот? — не выдержал я.

— А что? У старых совсем крыша едет. Она и так две недели ноет, что ей Вера снится. Теперь кота увидела — вообще начнётся.

— Может, начнётся что-то нужное.

— Ты психолог, что ли?

— Нет, курьер.

— Вот и стой молча.

Он поднялся на крыльцо, открыл дверь и исчез в доме. Внутри тут же началось шипение голосов. Старческий высокий, тонкий, как нитка. И Серёгин — плотный, тяжёлый, давящий. Слов не разобрать, но интонации понятны. Люди вообще часто думают, что смысл в словах. Нет. Смысл в том, как человек говорит «я тебе добра желаю». Можно сказать так, что сразу хочется вызвать полицию. Я стоял у калитки и не знал, что делать. Кот знал. Он встал, протиснулся между прутьями — я даже не понял как, у него же пузо было как у депутата на банкете, — и оказался во дворе.

— Эй! — сказал я.

Кот пошёл к крыльцу. Собака в будке сделала «ррр», но как-то формально. Для порядка. Видимо, у кота была репутация или выражение морды, с которым спорить не принято.

— Заберите кота, — сказал один из грузчиков.

— Попробуйте сами, — сказал я.

Грузчик посмотрел на Чека и решил не пробовать. Умный человек. Видно, жизнь его уже чему-то научила. Кот дошёл до крыльца. Сел у двери. И снова заорал. На этот раз короче. Грубее. Как будто матом, только на кошачьем. В доме что-то упало. Потом дверь распахнулась. На пороге стояла Валентина Матвеевна.

Она была меньше, чем за стеклом. Всегда так со стариками: через окно они ещё кажутся частью дома, а рядом с тобой вдруг понимаешь, как мало в них осталось тела. На ней была серая кофта, тёмная юбка и тапочки. Одни из тех тапочек, которые покупают на рынке «чтобы удобно», а потом человек проходит в них последние годы своей жизни. Волосы выбились из пучка. Лицо белое. Но глаза... глаза были живые. Очень. Слишком живые для человека, которого сын уже мысленно упаковал вместе с сервизом.

— Маркиз, — сказала она.

Кот подошёл к ней и потёрся боком о её ногу. Я посмотрел на кота.

— Чек, значит?

Кот даже не обернулся. Вот тебе и Чек. Валентина Матвеевна медленно наклонилась. Рука дрожала. Она коснулась рыжей спины, и кот вдруг стал не начальником склада, не вредным старым хрычом, а просто котом. Большим, тёплым, знакомым. Он выгнул спину и заурчал так громко, что я услышал даже у калитки. Серёга появился за её спиной.

— Мать, ты куда вылезла?

— Маркиз пришёл, — сказала она.

— Какой Маркиз? Это чужой кот.

— Это Маркиз.

— Мать, Маркиз сдох двадцать лет назад.

Она подняла на него глаза.

— Люди тоже иногда дохнут раньше смерти, Серёжа. И ничего. Ходят.

Грузчик тихо присвистнул. Я подумал: вот она. Вот это да. Маленькая старуха в тапочках только что вынесла сыну приговор без адвоката и свидетелей. И даже не повысила голос. Серёга покраснел.

— Зайди в дом.

— Нет.

— Мать.

— Нет, — повторила она и посмотрела на меня. — Вы от Веры?

Я поднял книгу.

— Да. Она просила передать лично.

Валентина Матвеевна на секунду закрыла глаза. Не как человек, которому стало плохо. А как человек, который очень долго держал дверь изнутри, а теперь услышал снаружи правильный стук.

— Знала ведь, — сказала она. — Паршивка. Знала.

Серёга шагнул к ней.

— Ничего ты брать не будешь.

Я не успел среагировать. Валентина Матвеевна успела. Она повернулась к сыну и сказала:

— Серёжа, если ты сейчас не отойдёшь, я скажу этим людям, где лежат твои документы на дом.

Серёга застыл. Вот теперь стало интересно всем. Даже собака высунула морду из будки. Грузчики переглянулись. У одного на лице было написано: «Я просто шкаф таскал, а попал в сериал».

— Какие документы? — спросил Серёга тихо.

— Те самые.

— Мать, не начинай.

— Я только начинаю.

Старость вообще коварная штука. Все думают, что старый человек слабый, потому что у него дрожат руки и таблетки в коробочке по дням недели. А старый человек иногда просто долго молчал. Очень долго. И за это время успел запомнить, где у кого спрятаны все гвозди. Я открыл калитку. Она была не заперта. Просто прикрыта. Бывает, главное препятствие в жизни

— это то, что ты сам считаешь закрытым. Я вошёл во двор. Серёга смотрел на меня так, будто уже выбирал место, куда меня закопать. Но не двигался. Документы на дом, видимо, держали его крепче любой полиции. Я поднялся на крыльцо и протянул книгу Валентине Матвеевне.

— Это вам.

Она не взяла сразу. Сначала посмотрела на обложку. На зелёную ткань. На стёртый корешок. На мои пальцы. Потом медленно, очень аккуратно, будто принимала младенца или гранату, взяла книгу обеими руками.

— «Дом, где ждут», — прочитала она.

Голос у неё дрогнул.

— Вы знаете эту книгу?

Она усмехнулась.

— Я её ненавижу.

Вот такого я не ожидал.

— Тогда зачем...

— Потому что только то, что ненавидишь, и помнишь всю жизнь. Любимое забывается. Оно растворяется в тебе, как сахар в чае. А ненавистное лежит камнем. Тут. — Она постучала по груди. — Вера обещала принести мне эту книгу сорок три года назад.

Сорок три. Мой возраст. Совпадение снова кашлянуло в углу.

— И не принесла? — спросил я.

— Принесла. Только не мне.

Валентина Матвеевна повернулась и пошла в дом. Кот — Маркиз, Чек, как его там по паспорту, — пошёл за ней. Я стоял на крыльце, не зная, приглашён я или уже слишком глубоко влез. Старуха обернулась.

— Что встал? Заходи. Раз уж покойница тебя притащила.

Я посмотрел на Серёгу. Он молчал. Стиснул зубы так, что на скулах задвигались желваки.

— Я быстро, — сказал я.

— Нет, — сказала Валентина Матвеевна. — Быстро уже было. Теперь надо долго.

В доме пахло лекарствами, старым деревом, пылью и жареным луком. Этот запах есть почти в каждом старом доме. Будто люди могут быть разными, судьбы разные, обиды разные, а жареный лук везде один и тот же. В прихожей стояли коробки. На одной было написано фломастером: «посуда». На другой: «хлам». Я всегда боюсь коробок с надписью «хлам». Обычно там лежит чья-то жизнь, которую другой человек не умеет правильно назвать.

В комнате было темно. Шторы полузадёрнуты. На стене ковёр с оленями. Олени бежали через лес уже лет сорок и всё никак не могли выбежать. На серванте — хрусталь, фотографии, пластмассовые цветы. В углу — телевизор. Без звука там шёл какой-то сериал: женщина в белом халате смотрела на мужчину так, будто собиралась поставить ему диагноз «любовь». Валентина Матвеевна села в кресло у окна. Кот запрыгнул к ней на колени. Тяжело запрыгнул. Она охнула, но не согнала.

— Толстый стал, — сказала она.

Кот заурчал.

— Вы правда его знали? — спросил я.

— Я знала другого. Но этот тоже знает меня.

— Как это?

— А вот так. — Она погладила кота по голове. — Ты молодой ещё, тебе всё надо словами скрепить. А жизнь иногда без слов приходит и сразу садится на колени.

Молодой. Мне сорок три. Приятно, конечно. Но тревожно. Если я молодой, тогда кто же у нас старый? Археологическая находка? Серёга вошёл следом. Встал у двери, скрестив руки.

— Мать, не устраивай цирк.

— Серёжа, помолчи.

— Это мой дом тоже.

— Вот именно. Тоже. Не только твой.

Он открыл рот, но она подняла палец.

— Я сказала — помолчи.

И он замолчал. Валентина Матвеевна положила книгу на колени поверх кота. Кот недовольно зашевелился, но терпел. Уважал литературу или старуху. Скорее старуху. Она провела пальцами по обложке.

— Мы с Верой были подругами, — сказала она. — Не такими, как сейчас пишут в интернете: «лучшая подруга», сердечки, фотографии, поздравления. Мы были подругами молча. Понимаешь? Она приходила ко мне после техникума, садилась на кухне, ела хлеб с вареньем и молчала. Я тоже молчала. Хорошая дружба была. Без отчётов.

Я кивнул.

— Потом появился Коля.

Серёга у двери напрягся.

— Отец? — спросил я.

Валентина Матвеевна усмехнулась.

— Твой отец, Серёжа. Не его.

Серёга сплюнул в сторону, но в доме, поэтому просто сделал губами движение.

— Коля был красивый, — сказала она. — Глупый, но красивый. Это опасная смесь. Красивому глупому мужчине женщины сами придумывают душу. Потом удивляются, что там пусто.

Я чуть не улыбнулся. Валентина Матвеевна открыла книгу. Между страниц лежала закладка. Старая трамвайная карточка или билет — я не понял. Она достала её, поднесла ближе к глазам.

— Вера любила его. Я тоже. Только она первая сказала.

— А он?

— А он любил, когда его любят. Есть такие люди. Они не выбирают человека. Они выбирают зеркало, в котором лучше выглядят.

Серёга резко сказал:

— Может, хватит?

— Нет.

Он шагнул в комнату.

— Мать, я сказал...

— А я сорок три года молчала, — сказала она. — Дай мне десять минут. У тебя потом будет вся оставшаяся жизнь, чтобы снова делать вид, что ничего не было.

Серёга побледнел. Не сильно, но заметно. Его краснота ушла куда-то внутрь, оставив лицо серым. Сорок три года. Опять. Я сел на край стула. Стул жалобно скрипнул. Такие стулья всегда скрипят не от веса, а от недоверия к гостям.

— Мы договорились с Верой, — продолжала Валентина Матвеевна. — Глупо договорились. Нам было по девятнадцать. В этом возрасте человек думает, что если красиво страдает, то жизнь обязана его наградить. Вера сказала: пусть Коля сам выберет. А я сказала: да, пусть. Но я знала, что он выберет её. Она была... — старуха замолчала. — Она была как открытое окно. Рядом с ней всем казалось, что душно не навсегда.

Я посмотрел на книгу.

— А книга?

— Это была моя книга. Я дала её Вере. Там была глава про женщину, которая всю жизнь ждала у окна человека, а потом поняла, что ждала не его, а себя. Глупость, конечно. Но в девятнадцать мне казалось — правда. Я попросила Веру вернуть. Она сказала: завтра принесу.

— И не принесла?

— На следующий день она уехала с Колей.

В комнате стало тихо. Снаружи грузчики снова что-то двигали, но уже осторожнее. Словно боялись шумом повредить рассказ.

— А вы ждали? — спросил я.

Валентина Матвеевна посмотрела на меня.

— Конечно.

Слово было простое. Без украшений. И именно поэтому большое.

— Сначала книгу. Потом извинения. Потом письма. Потом что она вернётся. Потом что Коля вернётся. Потом что кто-нибудь вернётся. Потом уже неважно кто. Лишь бы дверь открылась не из-за сквозняка.

Она погладила кота.

— А потом я вышла за другого. Родила Серёжу. Жила. Картошку сажала. Варенье варила. Работала в конторе. Все думали, что всё прошло. Да я и сама так думала. Только каждый раз, когда видела зелёную обложку в магазине или библиотеке, у меня внутри начиналось это... — она поискала слово, — царапанье.

Кот перестал урчать. Я почему-то подумал, что царапанье — очень точное слово. Не боль. Не тоска. Не драма. А именно царапанье. Как будто внутри закрылась кошка и всю жизнь просилась наружу.

— Вера приезжала сюда потом, — сказала Валентина Матвеевна. — Уже с фургоном. Через много лет. С книгами. Я её увидела у магазина и спряталась за мешками с мукой. Представляешь? Старая дура. Двое детей, муж, работа, а я за мукой сижу, как партизан.

— Почему не подошли?

— Потому что если человек не пришёл сорок лет назад, глупо спрашивать его в пятьдесят девять, почему.

— А она?

— Она знала, что я там. Конечно знала. Оставила у продавщицы яблоки. Яблоки, понимаешь? Как будто яблоки могут заменить книгу.

Серёга вдруг сказал:

— Так вот почему ты её ненавидела.

Голос у него был тише. Не мягкий, нет. Просто в нём впервые появилась щель. Валентина Матвеевна посмотрела на сына.

— Я её не ненавидела. Это хуже.

— Что хуже?

— Я её ждала.

Серёга отвернулся к окну. Мне стало неудобно. Так бывает, когда попадаешь в чужую семейную комнату, где только что сняли простыню с мебели, а под ней не пыль, а сорок лет недоговорённости.

— Но почему Вера сейчас прислала книгу? — спросил я. — После смерти?

Валентина Матвеевна открыла первую страницу. Прочитала свою старую злую надпись: «Я ждала. Ты не пришла». Пальцы её дрогнули.

— Потому что при жизни стыднее.

Она перевернула страницу. Между листами лежал конверт. Тонкий. Желтоватый. Запечатанный.

На нём было написано:

«Вале. Если Павел всё-таки доведёт». Я почувствовал, как у меня холодеет спина.

— Почему там моё имя? — спросил я.

Валентина Матвеевна не ответила. Она смотрела на конверт. Серёга тоже смотрел. Кот поднял голову. Я хотел, чтобы кто-нибудь сказал: «Да совпадение, мало ли Павлов на свете». Но никто не сказал. Потому что все уже понимали: нет. Не мало ли. Валентина Матвеевна

надорвала конверт. Руки у неё тряслись. Я хотел помочь, но не стал. Некоторые письма человек должен открыть сам, даже если пальцы уже плохо слушаются.

Внутри был лист. Она развернула его и начала читать про себя. Сначала лицо у неё было неподвижным. Потом губы задрожали. Потом она закрыла рот ладонью. Кот прыгнул с её колен, будто понял, что сейчас человеку понадобится место для боли.

— Что там? — спросил Серёга.

Она не ответила.

— Мать.

Она подняла глаза на меня.

— Ты правда Паша Суханов?

Я кивнул.

— Мать твою как звали?

— Татьяна.

— Татьяна... — повторила она. — Таня с улицы Садовой?

Я не любил, когда чужие люди называли мою мать Таней. Мать у меня была мать. Татьяна Викторовна для соседей. Таня — для тех, кто знал её до меня. А это всегда неприятно: понимать, что у родителей была жизнь, где тебя ещё не существовало, и они там смеялись, целовались, врали, делали глупости и, возможно, были счастливы.

— Да, — сказал я. — Мы жили на Садовой, когда я был маленький.

Валентина Матвеевна снова посмотрела в письмо.

— Вера пишет, что должна была отвезти тебе книгу. Тебе и твоей матери. В тот день, когда вы уезжали.

— Куда уезжали?

— От отца.

Я сжал пальцы.

— Мой отец умер, когда мне было пять.

— Нет, — сказала Валентина Матвеевна.

Одно слово. И комната стала другой. Не темнее. Не страшнее. Просто в ней вдруг исчез пол под ногами. Такое бывает в лифте, когда он дёргается вниз, а тело на секунду забывает, что оно тело, и становится мешком с испугом.

— Что значит нет?

Серёга посмотрел на меня. Уже без злости. Почти с интересом. Как человек, который пришёл на драку, а попал на чужой обвал. Валентина Матвеевна протянула мне письмо.

— Я не знаю, имею ли право.

— Уже поздно, — сказал я.

Она кивнула. Я взял лист. Почерк Веры Сергеевны. Синий. Ровный. Невыносимо спокойный.

«Валя. Я трусила всю жизнь. Ты это знала лучше других. Я не принесла тебе книгу, потому что боялась посмотреть тебе в лицо. Потом не принесла, потому что прошло слишком много времени. Потом потому что у тебя родился Серёжа. Потом потому что умер Николай. Потом потому что я сказала себе: старые раны лучше не трогать. Это была ложь. Старые раны не становятся лучше. Они просто учатся носить одежду. Ты ждала не книгу. Ты ждала, что я признаю: я забрала не только её. Я забрала у тебя право знать правду. Николай ушёл не ко мне. Он ушёл от нас обеих. А через год вернулся к Татьяне Сухановой. Да, той самой. У них был мальчик Паша.

Когда Татьяна решила уехать, она попросила меня передать Паше книгу. Детскую. "Путешествие голубого фургона". Она сказала: если мальчик будет спрашивать отца, пусть у него будет хотя бы история, где фургон всегда возвращается. Я не довезла. Я опоздала на

один день. А на следующий день Татьяна сказала всем, что отец Паши умер. Я молчала. Прости меня, если сможешь. И отдай Паше то, что я не смогла. Вера.

Я читал медленно. Слова не сразу становились смыслом. Они сначала были просто чернилами. Потом строками. Потом вдруг начали входить внутрь, и каждое входило не как слово, а как маленький тупой предмет. Отец не умер. Мать соврала. Вера не довезла книгу. Путешествие голубого фургона. Я посмотрел на Валентину Матвеевну.

— Где эта книга?

Она покачала головой.

— Здесь написано — отдай Паше то, что я не смогла.

— Где?

В комнате стало так тихо, что я услышал, как на кухне капает кран. Кап. Кап. Кап. Серёга вдруг сказал:

— В коробках посмотри.

Мы все повернулись к нему. Он пожал плечами, но уже без прежней наглости.

— Ну а что. Если мать её книгу сорок лет хранила, может, и эта где-то валяется.

— Я не хранила, — сказала Валентина Матвеевна.

Но сказала как-то неуверенно.

— Хранила, — сказал Серёга. — Ты всё хранишь. Даже квитанции за девяносто восьмой год. У тебя в шкафу полстраны похоронено.

Она хотела возразить, но не стала. Мы пошли к коробкам. И вот странно: пять минут назад я был чужим мужиком, которому здесь могли дать по лицу. А теперь мы втроём — я, старуха и её неприятный сын — рылись в коробках, как родственники после пожара. Кот сидел на пороге комнаты и наблюдал. Не помогал, конечно. Коты вообще мастера духовного сопровождения без физического участия.

В коробке «посуда» была посуда. В коробке «хлам» оказалась жизнь: открытки, школьные тетради Серёги, значки, старые ключи, фотографии, засохший букет, три пузырька из-под духов, часы без ремешка, чёрно-белый снимок Николая. Красивый был мужик. Валентина Матвеевна не соврала. Красивый и пустой. Это даже на фотографии было видно: лицо есть, а внутри сквозняк. Валентина Матвеевна долго смотрела на сервант, потом вдруг сказала:

— Внизу. За ёлочными игрушками.

— Что внизу? — спросил Серёга.

— Открой.

Он хотел возразить, но открыл дверцу. Внутри лежали скатерти, коробка с ёлочными игрушками, альбомы и стопка книг, перевязанная бельевой верёвкой.

— Я не выбросила, — сказала она, будто оправдывалась перед собой.

Серёга достал стопку. Сверху были журналы «Работница», потрёпанный том Дюма, кулинарная книга без обложки, сборник стихов с засушенным листом внутри. А в самом низу — тонкая детская книга. Голубая. С выцветшим рисунком: маленький фургон едет по дороге, а за ним бегут дети и собака. Название почти стёрлось, но я всё равно прочитал: «Путешествие голубого фургона». Ноги у меня стали ватными.

Не поэтически. А буквально. Будто кто-то выкрутил из них кости и оставил только джинсы.

— Вот, — сказала Валентина Матвеевна.

Серёга молчал. Я взял книгу. Она была лёгкая. Слишком лёгкая для вещи, которая только что изменила мой вес на земле. Открыл первую страницу.

Там было написано детским круглым почерком, видимо, моей матери:

«Паше. Чтобы ты знал: если кто-то не вернулся, это не значит, что он тебя не любил». Ниже другой почерк. Мужской. Неровный. «Я вернусь, когда стану лучше. Папа». Я стоял посреди чужого дома с детской книгой в руках. И впервые за много лет мне захотелось позво-

нить матери не для того, чтобы спросить про здоровье, коммуналку или рецепт маринада. А чтобы спросить: почему? Кот подошёл и потёрся о мою ногу.

Я не шелохнулся.

— Паша, — сказала Валентина Матвеевна тихо.

Я поднял глаза. Она сидела в кресле, маленькая, старая, с зелёной книгой на коленях. Сын стоял рядом. Не злой уже. Просто большой, растерянный мальчик, который всю жизнь думал, что мать у него старая и вредная, а оказалось — она когда-то была девятнадцатилетней девушкой, которая ждала подругу с книгой.

— Забери её, — сказала она. — Раз Вера просила.

— А ваша?

Она посмотрела на «Дом, где ждут».

— А моя наконец дошла.

И заплакала. Без красивых всхлипов. Без кино. Просто из глаз потекло, и всё. Старые люди плачут особенно страшно. У них лицо уже привыкло к боли, и слёзы выглядят не событием, а продолжением погоды. Серёга подошёл к ней. Постоял. Потом неловко положил руку ей на плечо. Так, будто никогда раньше этого не делал и теперь не знал, сколько весит материнское плечо. Она не сбросила. Я вышел на крыльцо.

С детской книгой в одной руке и фотографией в кармане. Воздух был тёплый. Над башней кружили птицы. У «Газели» грузчики курили молча. Собака уже не лаяла. Всё вокруг стало обычным, как бывает после чужого землетрясения: дома стоят, трава растёт, мухи лезут к лицу, а внутри у тебя обвалилась целая стена. Кот вышел следом. Сел рядом.

— Ты знал? — спросил я.

Он посмотрел на меня. И впервые мне показалось, что он не презирает. Нет. Он просто ждал, когда я перестану быть идиотом. Я сел в фургон. Положил детскую книгу на приборную панель. Завёл двигатель.

На телефоне было пять пропущенных от матери. Пять. Я смотрел на экран, пока он не погас. Потом включил первую передачу.

— Не сейчас, — сказал я.

Кот запрыгнул на пассажирское сиденье. Фургон дёрнулся, покатился по улице, мимо водонапорной башни, магазина «Ромашка», кривого знака и двух мальчишек на велосипедах. Первая доставка была выполнена. Только почему-то мне казалось, что доставили не книгу Валентине Матвеевне. А меня — туда, где я меньше всего хотел оказаться.

Глава 4. Мать звонила пять раз

Мать звонила пять раз. Пять — число неприятное. Один раз можно не заметить. Два — сказать себе: занята, ошиблась, палец дрогнул, у всех бывает. Три — уже тревожно, но ещё можно соврать, что связь плохая. Четыре — это почти пожар. А пять — это когда человек не просто звонит, а стучит тебе в жизнь ногой, как сосед снизу по батарее: «Я знаю, что ты там. Открой». Я не открыл. Телефон лежал на пассажирском сиденье рядом с котом. Кот положил на него лапу, как на важную улику. Экран погас. Потом снова вспыхнул. Мама. Потом опять погас. Потом пришло сообщение. «Паша, возьми трубку». Я смотрел на дорогу.

Дорога из Лесного была кривая, как объяснения взрослого человека, который всю жизнь скрывал правду. Фургон подпрыгивал на ямах, книги позади глухо постукивали в полках, детская книжка лежала на приборной панели и смотрела на меня голубой обложкой. «Путешествие голубого фургона». Очень смешно. У меня теперь был голубой фургон, кот с двумя именами, покойница в маршрутизаторе судьбы и отец, который, оказывается, не умер, а просто исчез из официальной версии моего детства. В нашей семье, как выяснилось, даже смерть можно было оформить по устной договорённости. Я хотел злиться.

Нет, не так. Я злиться уже начал. Просто злость не знала, куда ей встать. На мать? На отца? На Веру Сергеевну? На Валентину Матвеевну, которая выдала мне правду вместе с детской книгой, как сдачу в сельском магазине? На себя, потому что сорок три года жил и не догадался, что в моей биографии дыру закрыли фанерой и сверху повесили коврик?

Мать всегда говорила: «Твой отец умер рано». Рано — удобное слово. Оно многое прячет. Рано умер. Рано ушёл. Рано понял. Рано спился. Рано стал чужим. Рано — это когда не надо называть дату, причину и фамилию врача. Мне было пять. Я верил. Дети вообще верят взрослым не потому, что взрослые честные, а потому что выбора нет. В пять лет у тебя весь мир на доверенности. Мама сказала — значит, так. Мама сказала, что нельзя есть снег. Мама сказала, что дядя из соседнего подъезда хороший, только пьяный. Мама сказала, что отец умер. Значит, умер. А он написал: «Я вернусь, когда стану лучше. Папа». Стану лучше.

Вот же фраза. Её надо запретить законодательно. Как просроченную колбасу. Люди говорят «стану лучше», когда хотят уйти и оставить после себя красивую бумажку. «Я вернусь, когда стану лучше» — это не обещание. Это билет без даты, поезд без расписания и вокзал, где ты стоишь в детской куртке, пока у тебя из рукавов не вырастают взрослые руки. Телефон снова завибрировал. Кот открыл один глаз.

— Не смотри на меня, — сказал я. — У тебя, может, с матерью нормальные отношения. Кот моргнул.

— Хотя вряд ли. С твоим характером тебя мать, наверное, тоже бросила у помойки с запиской: «Вернусь, когда стану лучше».

Он отвернулся к окну. Я всё-таки взял телефон. Не чтобы ответить. Просто посмотреть. Сообщений уже было три.

«Паша, ты где?»

«Мне звонила какая-то женщина из Лесного». «Сынок, пожалуйста, ответь». Сынок. Вот это удар ниже ремня. Матери знают, где лежат все кнопки. Они сами их устанавливали. Маленькими руками, в детстве, когда мазали зелёнкой коленки, дули на суп, проверяли шапку и говорили: «Я же для тебя». Потом кнопки остаются. И в сорок три ты вроде мужик, у тебя спина, щетина, работа, права категории В, геморрой от сидячего образа жизни на подходе, а слово «сынок» щёлкает — и всё. Ты снова стоишь в коридоре в мокрых варежках и ждёшь, ругать будут или жалеть. Я набрал сообщение:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.